

"Факт", объяснение и компетенция [\[1\]](#) .

В современной культуре факт - это народное понятие с аристократической родословной. Когда лорд-канцлер Бэкон, пропагандируя созданную им удивительную и неповторимую амальгаму прежнего платонизма и будущего эмпиризма, приказал своим последователям отречься от спекуляций и собирать факты, он немедленно нашел понимание среди тех, кто, подобно Джону Обри [\[2\]](#) , воспринимал факты как коллекционные вещицы, собираемые с тем же энтузиазмом, который в иные времена породил коллекцию сподского фарфора

[\[3\]](#)

и коллекцию номеров паровозных движков. Другие же члены вновь основанного Королевского Общества

[\[4\]](#)

вполне отчетливо признавали, что, каковы бы ни были занятия Обри, они не имели ничего общего с естественными науками в их понимании; однако же они не хотели признать, что букве бэконовского индуктивизма в целом, скорее, следовал именно Обри, а не они. Конечно же, ошибка Обри была не только в том, что он видел в ученом этакую сороку-воровку. Ошибочным было также предположение, что наблюдатель стоит лицом к лицу с фактами, без всякого посредничества теоретической интерпретации.

Большинство философов науки сейчас согласятся с тем, что последнее предположение было заблуждением, пусть и необыкновенно упорным и живучим. Наблюдатель, живущий в двадцатом веке, глядя в небо, видит звезды и планеты. Некоторые наблюдатели, жившие в более ранние времена, видели щелки в небесной сфере, сквозь которые можно было наблюдать свет снаружи. Воспринимающий, лишенный понятий, – слегка перефразируя Канта, – слеп. Философский эмпиризм утверждает, что общим для средневекового и современного наблюдателей является то, что оба на самом деле видят или видели до всякой теории и интерпретации, а именно множество световых пятен на темном фоне; и ясно, что, по меньшей мере, увиденное обоими можно описать указанным образом. Но если бы нам пришлось охарактеризовать весь наш опыт с помощью такого сугубо сенсорного описания – которое, кстати, действительно используется нами время от времени для ряда специальных целей, – мы столкнулись бы

не только с непроинтерпретированным миром, но с миром, не поддающимся интерпретации. Перед нами предстал бы не просто мир, еще не постигнутый теорией, но мир, который не сможет постичь ни одна теория. Мир, включающий в себя лишь текстуры, формы, запахи, ощущения, звуки, не вызывает желания задавать вопросы и не дает никаких оснований предлагать какие-то ответы.

Эмпиристское понятие науки стало культурным изобретением семнадцатого – восемнадцатого веков. На первый взгляд кажется парадоксальным, что это понятие возникло внутри той же культуры, которая породила естественные науки. Причина же в том, что оно было изобретено как панацея от эпистемологического кризиса семнадцатого века и специально предназначено для того, чтобы заполнить брешь между кажется и есть, между видимостью и действительностью. Эта цель достигалась посредством превращения каждого чувствующего субъекта в замкнутую, изолированную реальность: для меня не должно существовать ничего за пределами моего опыта, с чем этот опыт можно было бы сравнить, дабы противопоставление мне кажется – на самом деле стало невозможно сформулировать. Для этого субъективный опыт должен обладать той радикальной приватностью, какой не обладают даже такие сугубо приватные объекты, как послеобразы [5]. Все же послеобразы могут быть описаны ошибочно, и испытуемые в соответствующих психологических экспериментах должны научиться давать точные описания послеобразов. Различение между кажется и есть вполне применимо к подобным действительно приватным объектам. Но оно совершенно неприменимо к приватным объектам, изобретенным эмпиризмом, и это верно даже невзирая на то, что некоторые представители эмпиризма пытаются объяснить свое концептуальное изобретение в терминах реальных приватных объектов (послеобразов, галлюцинаций, снов).

Едва ли можно назвать удивительным то обстоятельство, что эмпиристы вынуждены приспособлять старые слова к новым способам употребления. Под "опытом" исходно подразумевалось действие по проведению испытания или проверки чего-либо – т.е. то значение, которое позднее закрепилось за словом "эксперимент", - а потом и вовлеченность в некоторую деятельность, как, например, в выражении "пятилетний опыт работы плотником". Эмпиристское понятие опыта оставалось неизвестным на протяжении большей части человеческой истории. Вполне понятно, таким образом, что лингвистическая история эмпиризма - это история непрерывных инноваций и изобретений, достигающая кульминации с изобретением варварского неологизма "сенсорные данные".

По контрасту, в естественных науках концепции наблюдения и эксперимента были предназначены для увеличения дистанции между кажется и есть. Линзы телескопа или микроскопа получают преимущество перед естественными линзами глаза; при

измерении температуры воздействие тепла на ртуть или спирт получает преимущество перед воздействием тепла на обожженную кожу или пересохшую глотку. Естественные науки учат нас уделять избирательное внимание некоторым формам опыта в ущерб другим, притом лишь тем формам, которые были специально спроектированы в качестве подходящих для научного внимания. Это вновь воссоздает границу между кажется и есть; это создает новые формы различения как между видимостью и реальностью, так и между иллюзией и реальностью. Значения понятий "эксперимент" и "опыт" начинают различаться намного сильнее, чем они различались до семнадцатого века.

Существуют, конечно, другие ключевые расхождения. Концепция опыта в эмпиризме была нацелена на выделение базисных элементов, из которых построено наше знание и на которые оно опирается; обоснование теорий и убеждений зависело от вердикта базисных элементов опыта. Однако наблюдение в естественных науках никогда не бывает базисным в этом смысле. Мы действительно подвергаем гипотезы проверке наблюдением, но наши наблюдения, в свою очередь, также могут быть поставлены под вопрос. Убеждение в наличии семи спутников у Юпитера может быть проверено посредством наблюдения в телескоп, но само наблюдение при помощи телескопа также нуждается в обосновании со стороны теорий геометрической оптики. Теория требует поддержки со стороны опыта в той же мере, в какой опыт нуждается в поддержке теории.

Действительно, есть что-то необычное в том, что эмпиризм и естественнонаучное знание сосуществовали внутри одной культуры, так как они представляют радикально различные и несовместимые подходы к познанию мира. Но в восемнадцатом веке оба подхода оказались частями единого мировоззрения. Из этого следует, что само это мировоззрение было, в лучшем случае, крайне несогласованно - факт, отмеченный столь пронизательным и ироничным наблюдателем, как Лоренс Стерн. Последний пришел к выводу, что философии, хоть и нечаянно, но удалось превратить мир в серию шуток, и из этих шуток Стерн создал "Тристрама Шенди" [\[6\]](#). Для тех, кто служил предметом стерновских шуток, несогласованность их собственного мировоззрения была несколько затемнена степенью достигнутого ими согласия относительно того, что подлежало отрицанию или исключению из общей картины мира. По взаимному согласию отрицанию и исключению в наибольшей мере подвергались те аспекты классического мировоззрения, которые можно охарактеризовать как аристотелевские. Начиная с семнадцатого века и далее, стало общим местом, что, тогда как схоластики позволяли себе заблуждаться относительно характера фактов в природном и социальном мирах из-за того, что помещали между собой и переживаемой реальностью аристотелевскую интерпретацию, мы, современники – семнадцатого или восемнадцатого веков, – отбросили прочь интерпретацию и теорию, оставшись лицом к лицу с фактами и опытом как таковыми.

Как раз на этом основании представители "современности" провозгласили себя представителями Просвещения, в противовес средним векам, воспринимаемым как "темное время" [7]. Что Аристотель затемнял, они видели. Это чванство, конечно, было – как и всякое такого рода чванство – знаком неузнанного и непризнанного перехода от одной установки теоретической интерпретации к другой. Просвещение, следовательно, есть *par excellence* период отсутствия самопознания у большинства интеллектуалов. Что же стало важнейшими составными частями этого перехода XVII – XVIII вв., в ходе которого слепые провозгласили наличие собственного видения мира?

В средние века механизмы мыслились как действующие причины в структуре мира, который, в конечном счете, должен быть понят в терминах финальных, целевых причин. Каждому виду присуща естественная цель, и чтобы объяснить движения и изменения на уровне отдельного индивида, нужно объяснить, как данный индивид движется к цели, характерной для представителей его вида. Цели, к которым люди стремятся в качестве членов человеческого рода, воспринимаются ими как блага. И движения людей к различным благам или прочь от этих благ должны быть объяснены с помощью отсылок к тем добродетелям или порокам, которым эти люди обучились либо не сумели обучиться, а также посредством обращения к свойственным им формам практического суждения. Аристотелевские "Этика" и "Политика" (и, конечно, трактат "О душе") в равной мере являются трактатами о том, как следует объяснять человеческое действие, и о том, какие поступки следует совершать. В аристотелевской системе одна задача попросту не может быть решена без другой. Характерное для современности противопоставление сферы морали, с одной стороны, и сферы гуманитарных наук – с другой, совершенно чуждо аристотелизму, потому что, как мы уже говорили ранее в этой книге, модернистское противопоставление "факта" и "ценности" также ему чуждо [8].

Когда в семнадцатом-восемнадцатом веках аристотелевское понимание природы было отброшено и его влияние последовательно искоренялось из протестантской и янсенистской теологий, произошел закономерный отказ от предложенной Аристотелем трактовки действия. За пределами теологии (а иногда и в ее пределах) понятие "человек" перестало быть тем, что я ранее назвал функциональным понятием. Задача объяснения действия стала во все большей мере восприниматься как задача обнажения физиологических и физических механизмов, лежащих в основе действия. И как только Кант признал, что существует несовместимость между любым такого рода механическим объяснением и описанием действия, отводящим какую-то роль в детерминации действия моральным императивам, он вынужден был также принять вывод, что действия, подчиняющиеся моральным императивам и реализующие их, с точки зрения науки должны быть признаны необъяснимыми и неинтеллигибельными. После Канта отношение таких понятий, как намерение, цель, мотив действия и тому подобных, с

одной стороны, а также понятий, входящих в механицистские модели действия, с другой стороны, стало постоянной частью репертуара философии. Первая группа понятий рассматривается, однако, как совершенно независимая от понятий блага или добродетели, так как последние, в свою очередь, поручены отдельной дисциплине – этике. Таким образом, разделения и расхождения восемнадцатого столетия сохраняются и воспроизводятся в порочном круге современных междисциплинарных переговорок.

Но к чему ведут попытки рассмотрения человеческого действия в терминах механики, когда предшествующие действию условия трактуются как действующие причины? В характерном для семнадцатого-восемнадцатого веков понимании, да и во многих последующих версиях, в центре механического объяснения находится концепция инвариантностей, описываемых посредством законоподобных обобщений. Назвать причину - значит назвать необходимое условие, или достаточное условие, или необходимое условие как предшествующие условия (антецеденты) какого-либо поведения, подлежащего объяснению. Таким образом, каждая механическая причинная последовательность является частным примером какого-то универсального обобщения (генерализации), диапазон применимости которого может быть точно очерчен. Ньютоновские законы движения, которым приписывается универсальная применимость, служат парадигматическим образцом совокупности таких обобщений. Универсальный характер этих законов гарантирует их применимость за пределами того, что действительно наблюдалось в настоящем или прошлом. Они верны и для тех случаев, которые имели место в отсутствие наблюдателей, и для тех, которым еще предстоит стать предметом наблюдения. Если относительно такой генерализации известно, что она верна, то, например, относительно второго закона Кеплера мы можем не только утверждать, что он выполняется для всех известных планет, но и в случае, если бы нашлись другие планеты помимо наблюдаемых, мы бы знали, что они также подчиняются этому закону. Если мы можем судить об истинности утверждения, формулирующего подлинный закон, мы также можем установить истинность целого ряда контрфактуальных условных пропозиций [\[9\]](#).

Описанный идеал механического объяснения был из физики перенесен в науки о человеческом поведении усилиями многих французских и английских мыслителей XVII-XVIII

вв., подходы которых, конечно, различались в частных вопросах. Условия же, которым должен удовлетворять такой перенос, были отчетливо сформулированы лишь позднее. Одно такое требование, и очень существенное, было сформулировано лишь в наше время У.О. Куайном

[\[10\]](#)

Куайн выдвинул тезис о том, что, если существует наука о человеческом поведении, ключевые положения которой описывают поведение в достаточно точных терминах, позволяющих сформулировать настоящие законы, эти утверждения должны быть сформулированы с помощью словаря, исключающего любые ссылки на намерения, цели и мотивы действия. В точности так же, как физика вынуждена была очистить свой словарь, чтобы стать подлинной механической наукой, должны поступить и гуманитарные науки. Почему же так неприличны упоминания о намерениях, целях и мотивах поступков? Дело в том, что все эти выражения прямо или косвенно отсылают к убеждениям (beliefs) действующих. Тот тип дискурса, в котором мы формулируем высказывания об убеждениях и мнениях агентов действия, имеет два существенных недостатка с точки зрения того, что Куайн считает настоящей наукой. Во-первых, предложения вида " X верит, что p" (или, если уж на то пошло, "X рад тому, что p" либо "

X боится, что p") в силу внутренне присущей им сложности не позволяют задать функцию истинности, или, иными словами, не подходят под правила логического исчисления предикатов. В этом отношении они решающим образом отличаются от предложений, используемых в физике. Во-вторых, само понятие состояния убежденности, или радости, или страха, включает в себя слишком много спорных и сомнительных случаев, относительно которых нельзя сказать, являются ли они доказательствами, способными подтвердить или опровергнуть наши притязания на то, что мы открыли чаемый закон.

Итак, вывод, к которому приходит Куайн, заключается в том, что любая подлинная наука о человеческом поведении должна исключить подобные интенциональные выражения. Возможно, однако, что требуется сделать с Куайном то, что Маркс сделал с Гегелем: поставить его аргументацию с ног на голову. Потому что из позиции Куайна следует, что если окажется невозможным элиминировать все отсылки к убеждениям, страхам и радостям из нашего понимания человеческого поведения, то это понимание просто не сможет принять ту форму, которую Куайн рассматривает как научную, а именно – форму законоподобных обобщений. Аристотелевское объяснение того, что должно входить в понимание человеческого поведения, содержит неэлиминируемую отсылку к вышеназванным вещам, и, следовательно, нет ничего удивительного в том, что любая попытка объяснить поведение людей в терминах механицистской модели войдет в противоречие с аристотелизмом.

Переход от аристотелевского мировоззрения к механицизму, таким образом, трансформировал понятие "факта" в приложении к человеческим существам. В первом из названных мировоззрений действия людей объясняются телеологически, и, следовательно, действия можно и нужно характеризовать через соотнесение с иерархией благ, определяющих цели человеческих поступков. Во второй системе взглядов характеристика действия не может и не должна зависеть от какого-либо соотнесения с этими благами. В первом случае факты относительно деятельности

людей включают в себя факты о том, что представляет ценность для людей (которые отнюдь не ограничиваются фактами о том, что людям кажется ценным). Во втором случае предполагается, что не существует никаких фактов относительно того, что следует считать ценным. "Факт" становится свободным-от-ценности, "есть" отчуждается от "должно быть", и объяснение, наряду с оценкой, в результате развода между "сущим" и "должным" совершенно меняет свой характер.

Еще одно следствие описанного перехода было отмечено еще раньше Марксом, в третьем из его "Тезисов о Фейербахе". Вполне ясно, что выдвинутое эпохой Просвещения механицистское понимание человеческого действия включало в себя и тезис о предсказуемости поведения, и тезис о соответствующих путях манипулирования последним. В качестве наблюдателя, зная подходящие к случаю законы, которые управляют поведением других, я могу предсказать исход их поступков, если вижу, что имеют место определенные предшествующие условия. В качестве действующего, если я знаю упомянутые законы, я могу по мере своих возможностей "помешать" предшествующим условиям произвести ожидаемый исход. Марксу удалось понять, что такой действующий должен рассматривать свое собственное поведение иначе, чем поведение тех, кем он манипулирует. Ведь он "управляет" поведением манипулируемых в соответствии со своими намерениями, мотивами и целями; т.е. намерениями, мотивами и целями, которые он трактует – по меньшей мере, будучи вовлеченным в свои манипуляции – как свободные от действия законов, руководящих поведением тех, кто стал объектом манипулирования. По отношению к последним манипулятор, хотя бы на время, оказывается в той же позиции, в какой находится химик по отношению к образцам хлорида калия и нитрата натрия, используемым в эксперименте. Однако в изменениях, которые химик или технолог человеческого поведения вызывает в своем экспериментальном материале, он должен видеть не только проявление законов, управляющих такого рода процессами, но и отпечаток своей собственной воли. И этот отпечаток, по Марксу, он будет трактовать как выражение своей рациональной автономии, а не простой результат предшествующих условий. Конечно, относительно деятеля, претендующего на практическое использование науки о человеческом поведении, всегда остается открытым вопрос о том, действительно ли мы наблюдаем применение такого рода технологии, или же речь идет об обманчивой и ведущей к самообману лицедейской мимикрии. Выбор ответа здесь зависит от наличия у нас веры в то, что механицистская программа для социальных наук в существенной степени реализована. По крайней мере, в восемнадцатом веке идея механицистской науки о человеке оставалась программой и пророчеством. Однако пророчества в этой области могут находить воплощение не только в реальных достижениях, но и в социальных спектаклях, выдающих себя за такие достижения. И именно это, как будет показано далее в этой книге, произошло в действительности [\[11\]](#).

История превращения интеллектуального пророчества в социальный спектакль - это, конечно, сложная история. Она развивалась, - поначалу вполне независимо от

концепции манипулятивной компетентности (expertise), – как несколько весьма отличных историй в Пруссии, Англии и Франции, от которых, в свою очередь, отличалась история, имевшая место в С»А. Но по мере того как функции современных государств становились все более и более сходными, их государственные службы также становились все более похожими друг на друга; и пока политические лидеры в этих государствах приходили и уходили, чиновники поддерживали административную преемственность правления, оказывая таким образом значительное влияние на характер последнего.

В девятнадцатом веке дополнением и противоположностью государственного служащего стал социальный реформист: последователь Сен-Симона или Конта, утилитаризма или английского амелиоризма (как Чарльз Бут), либо ранний фабианец-социалист. Их характерной жалобой была фраза: ах, если бы только правительство могло стать научным! В долгосрочной перспективе ответом правительства стало утверждение, что теперь-то оно действительно стало научным: как раз в том смысле, который подразумевали последователи реформизма. Правительство все больше настаивает на том, что его чиновники имеют именно такое образование, которое позволяет считать их компетентными экспертами. Оно все чаще нанимает тех, кто претендует на компетенцию в области администрирования. Замечательно, что правительство также все чаще принимает на службу наследников вышеупомянутых реформаторов. Само правительство становится иерархией бюрократических менеджеров, и главным оправданием для вмешательства правительства в жизнь общества служит утверждение, что правительство обладает такими ресурсами компетентности, какими не располагают рядовые граждане.

Частные корпорации обосновывают подобным же образом свою деятельность, ссылаясь на аналогичные ресурсы компетенции. Экспертиза становится товаром, за обладание которым соревнуются конкурирующие государственные агентства и частные корпорации. Чиновники и менеджеры используют одинаковые оправдания самих себя и своих притязаний на авторитет, власть и деньги, заявляя о своей компетенции в качестве научных менеджеров социальных изменений. Так формируется идеология, классическим выражением которой среди уже существующих социологических теорий служит веберовская теория бюрократии. Предложенное Вебером объяснение бюрократии имеет множество общеизвестных недостатков. Однако Вебер дал ключ к пониманию многого в современной эпохе, настаивая на том, что рациональность максимально экономного и эффективного подбора средств для достижения заданных целей является центральной задачей бюрократа, и что, следовательно, для бюрократа самым подходящим способом оправдания его (или, позднее, ее) деятельности будет апелляция к своей способности использовать ресурсы научного и, особенно, общественнонаучного знания, понимаемого и организуемого в виде совокупности законоподобных обобщений.

В пятой главе данной книги я доказывал, что современные теории бюрократии или административного управления, расходясь с веберовской по многим вопросам, склонны соглашаться с ней во взглядах на обоснование управленческой практики, и что этот консенсус в значительной степени опирается на предположение о том, что вещи, описываемые в книгах по современной теории организаций, действительно представляют собой существенную часть современной практики менеджмента. Таким образом, теперь мы можем видеть, в очень схематичной форме, поступательное движение от просвещенческого идеала социальной науки к честолюбивым устремлениям социальных реформаторов, и затем – от реформаторских устремлений к практике государственной службы и управления, ее идеалам и обоснованию; далее на смену практике менеджмента приходят теоретическая кодификация практики и обоснование управляющих ею норм, осуществляемые социологами и специалистами по теории организаций.

Наконец, мы наблюдаем переход от использования в бизнес-школах и школах менеджмента учебников, написанных вышеупомянутыми теоретиками, ~ научно обоснованной практике управления, воплощение которой фигура современного технократического эксперта. Если прописать эту историю во всех конкретных деталях, она будет своей для каждой из развитых стран. Реальная последовательность событий будет в известной степени варьировать, роль Гранд Эколь не будет в точности такой же, как роль Лондонской школы экономики или Гарвардской школы бизнеса. Очевидными станут отличия в интеллектуальном и институциональном наследии немецкой государственной бюрократии в сравнении с другими европейскими бюрократиями. Но центральной во всех этих случаях осталась бы тема становления управленческой компетенции, причем последняя, как мы уже видели, всегда имеет две стороны: стремление к ценностной нейтральности и притязания на манипулятивное могущество. Истоки того и другого, как стало ясно, лежат в истории о том, как философы семнадцатого и восемнадцатого веков стали определенным образом различать реальность факта и реальность ценности. В самых существенных своих чертах общественная жизнь двадцатого века оказалась конкретным и драматичным перевоплощением философии восемнадцатого века. И легитимация характерных для двадцатого века институциональных форм общественной жизни зависит от веры в то, что некоторые из основных утверждений философии Просвещения можно считать доказанными. Но так ли это? Действительно ли мы располагаем сейчас той совокупностью законоподобных обобщений, руководящих жизнью общества, об обладании которой мечтали Дидро и Кондорсе? И, таким образом, подлежат ли оправданию наши бюрократические правители? До сих пор все еще не было достаточно ясно сказано, что ответ на вопрос о моральной и политической легитимности господствующих институтов современности зависит от того, как мы решаем вопросы философии социальных наук [\[12\]](#) .

[1] MacIntyre Alasdair. After Virtue: A Study in Moral Theory. Notre Dame // University of Notre Dame Press, 1981. P. 76-83. (Перевод с английского И.Ф. Девятко)

[2] Дж. Обри (1626-1697) – английский коллекционер, автор биографического сборника "Краткие жизнеописания" (1813). - Прим. пер.

[3] Фарфор, изготовленный английским мастером Дж. Споудом (1754-1827) по специальной технологии. - Прим. пер

[4] Лондонское королевское общество по развитию знаний о природе, основано в 1660 г., утверждено королевской хартией в 1662 г. – старейшее научное общество в Великобритании, - Прим. пер.

[5] Послеобразы, последовательные образы - зрительные ощущения, возникающие после прекращения действия стимула, зрительные "следы". - Прим. пер.

[6] Речь идет о романе Л.Стерна "Жизнь и мнения Тристрама Шенди» 1760-1767). - Прим. пер.

[7] Dark Ages (англ.). - Прим. пер.

[8] А.Макинтайр полагает, что отказ от характерной для Аристотеля телеологической трактовки социального действия приводит к невозможности обоснования нормативной теории действия. Следовательно, возникает проблема рационального обоснования критериев оценки человеческих поступков, которая не может быть разрешена, если сохраняется модернистское противопоставление "факта" и "ценности" и, в конечном счете, "социологии" и "этики". С другой стороны, соотнесенность человеческих поступков (фактов) и человеческих целей (ценностей) создает условия для объективной

и рациональной оценки первых с точки зрения реализации последних.
(Постмодернистская попытка решить проблему рационального обоснования иначе – признанием "плюрализма ценностей" - оказывается безуспешной, так как требует принятия тезиса о произвольном выборе ценностей, который упраздняет всякую нужду в моральной философии. Последняя может в таком случае служить лишь "маской" воли-к-власти.) - Прим. пер.

[9] Контрфактуальные условные высказывания ("Если бы имело место А, то последовало бы В") - одна из ключевых проблем в современной логике науки. Проблема заключается в том, что если предшествующее условие (первая часть) ложно, то высказывание в целом - истинно, вне зависимости от значения функции истинности для заключения (второй части). Однако некоторые такие заключения кажутся нам обоснованными, а другие - нет, несмотря на то, что истинность высказывания в целом гарантирована. Некоторые логики полагают, что такая избирательность в выборе заключения из заведомо ложного условия имеет место только тогда, когда в основе высказывания лежит настоящее, номическое универсальное обобщение, т.е. подлинный научный закон. Это показывает, что не всякое универсальное обобщение является законом. - Прим. пер.

[10] *Quine W. V. O. Word and Object. Cambridge et al., 1960. Ch. 6.*

[11] Макинтайр доказывает, что идеи "научного", "опирающегося на факты" и "эффективного" управления, осуществляемого образованной административной элитой, представляют собой так называемые моральные фикции, позволяющие обосновать модернистский миф о "рационализации" (наиболее ярким воплощением которого, очевидно, может служить социология М.Вебера). Ни бюрократия, ни социальная наука попросту не располагают таким знанием, которое могло бы обеспечить предполагаемую эффективность, однако перечисленные моральные фикции существенным образом задействованы в серии социальных представлений, где бюрократический менеджер "ценностно-нейтральным" способом реализует свою власть. – Прим. пер.

[12] Сам Макинтайр, как уже говорилось, решает вопрос научного обоснования социальной политики отнюдь не в пользу бюрократического эксперта. См . также: MacIntyre

"Факт", обяснение и компетенция

Добавил(а) Социология
05.09.10 21:01 -

А

. Which Rationality? Notre Dame, Ind.: University of Notre Dame Press, 1988. –

Прим

.

пер

.